

**ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ФРЕЙДЕНБЕРГ.  
ПИСЬМА 1911–1940 ГГ.***Публикации и комментарии**Н. В. Брагинской (ИКВИА НИУ ВШЭ), Н. Ю. Костенко (ИВГИ РГГУ)<sup>1</sup>***OLGA MICHAILOVNA FREIDENBERG.  
LETTERS FROM YEARS 1911–1940***Edited and commented by**N.V.Braginskaya (HSE) and N.Ju. Kostenko (RSUH)*

DOI 10.17323/2658-5413-2019-2-2-172-204

**Ольга Фрейденберг — Марку Лившицу<sup>2</sup>,  
[Санкт-Петербург — Москва, осень 1911 г.]**

Ваше письмо так меня обрадовало, Мотя. Неправда, Вы сами даете максимум искренности и простоты, потому мне так и пишется Вам. И потом, разве не радостно, что Вы цените эти качества? И как бы там я не писала, а хорошо, что Вы не прилагаете к словам и к письмам узко-житейского взгляда. Хорошо, что с Вами можно говорить, как говорится. Между прочим: я редко переписываюсь с Борей<sup>3</sup>, но если б Вы видели наши письма! У нас раз навсегда принято плюнуть на условности и не бояться никаких слов; в результате каждый говорит, что хочет, и понимает все слова в их чистом виде, вне всяких привычек.

Вы правы: эти правила сейчас неприложимы к жизни, и приносят одну беду. Но Вы ошибаетесь, если думаете, что они годны для писем: не для всех еще писем, Мотя.

Я с места в карьер пускаюсь в философию, но Вы ведь извините мне эту «вольность». Я ведь вовсе не поклонница философии, да и Вам некогда ею заниматься; но почему же не побаловаться в письмах, благо они, по Вашему же

<sup>1</sup> Для сохранения особенности авторского стиля в некоторых случаях сохранена устаревшая орфография, и пунктуация, а также отдельные разговорные формы. Использованные в публикации фотографии, если не указано другое, хранятся в Архиве О. М. Фрейденберг, Москва». *Прим. публ.*

<sup>2</sup> Лившиц Марк Семенович (1893–1953) — младший брат гимназической подруги Фрейденберг Елены Семеновны Лившиц (письма к ней см. ниже) с золотой медалью закончил 6-ю классическую гимназию в Петербурге, учился на медицинском факультете Московского университета. В Первую мировую еще студентом попал на фронт зауряд-врачом, участвовал в Гражданской войне, после работал в Военно-медицинской академии, со Второй мировой войны вернулся полковником медицинской службы. Очень тяжело переживал кампанию по борьбе с космополитизмом и дело врачей и умер от обширного инфаркта в феврале 1953 г. (подробнее см.: Костенко Н. Ю., 2017: 141–148).

<sup>3</sup> Б. Л. Пастернак.

определению, охотно питаются тем, что высмеивается жизнью! Стоит чуть-чуть повернуться, и сейчас же натыкаешься на предрассудки, о которых и говорить-то предрассудок. Сейчас правда так запошлена, что остается только одно свежее и свободное: это парадокс.

Бедный Уайльд только и отдыхал, что на груди у парадокса. Ведь если стыдно говорить сейчас истину, если истина неприемлема, то надо же давать то, что ей противоречит. Это очень интересное явление, знаете; парадоксом можно объяснить очень многое в литературе. Надо же гнуть либо туда, либо сюда. Что ни говорите, а все же сознайтесь, что ни XX-й век, ни культура, ни все наши тонкости и психологии — еще не сделали истину реальной; ведь как-никак, а правду еще нельзя говорить — правду «до тла», ту, что сидит у каждого. Тонкость — тонкостью, а таки свинство — свинством. Выходит так: у каждого в кармане сторублевки, а живут пятаками. Жалко новую монету: пушу-ка в ход эту, с дырой, всуну — и не заметят. А в конце жизни — трах! В могилу нельзя взять новую чеканку — и попадает она чорт знает к кому.

Вы не чувствуете, как реальность неинтересна? Она уже вся исчерпана, и нет сил больше жить ею.

Помните, я Вам писала, что «Портрет Дориана Грея» произвел на меня сильнейшее впечатление. Он с одной стороны — «новая книга», нечто модернистическое, а с другой — уже так заезжен, как ноктюрны Шопена. Я летом его не читала, но всегда его помнила, а недавно окончательно прочла. Скажите, есть ли у Вас хоть один знакомый такой же консервативный в литературе, как я? Надо мною ведь все смеялись; все всё перечитали, а я только громила «новое» и терзалась Мопассаном<sup>1</sup>. И куда как скучны оказались поклонни-



Марк Лившиц.  
1910-е гг., Москва.  
Из архива И. М. Лившиц

<sup>1</sup> Понимание Мопассана, как и Уайльда, шло у Фрейденберг собственной дорогой. Для нее Уайльд был писатель, а не герой скандальной хроники, а Мопассан — вовсе не автор соблазнительных сцен и сомнительных ситуаций, но большой, трагический писатель. На титульном листе мемуаров «Пробег жизни» под эпитафией из Пиндара написано следующее: «Моя жизнь описана Мопассаном в “Монт-Ориоле”, в истории ослика. Я спланировала ее



Фрагмент фотографии гимназического класса О.М. Фрейденберг.  
[1905-1907 гг., Санкт-Петербург]. В верхнем ряду третья слева Ольга Фрейденберг, сидят:  
Елена Лившиц (перед раскрытой книгой), крайняя справа, Мария Малоземова

жизненный процесс оттуда. По-видимому, алгебра для того и существует, чтоб каждый из арифметических случаев конкретизировал ее. 6 авг. 47». Как и Гамсун далее в этом письме, Мопассан был предметом эпистолярного обсуждения с Марком Лившицем и Борисом Пастернаком. Рассуждая о прелести неосуществленных желаний, в марте того же 1911 г. в письме Пастернаку Фрейденберг вспоминает Мопассана: «Вот Мопассан — у него желания всегда осуществляются, а, между тем, нет писателя более грустного, пессимистического, прямо безнадежного. Мне еще не приходилось с тобой говорить о Мопассане; если б слово любовь не было так бессодержательно и условно, я сказала бы, что люблю его, страшно люблю» (Пастернак, 2000: 23). Трагичность и пессимизм Мопассана она доказывала, а с расхожим представлением о нем боролась исключительно «действенным» способом: «Но я совсем пропала в тот день, когда узнала Мопассана. Первое знакомство с искусством играло в моей жизни роль целых биографических этапов. С Мопассаном у меня было связано глубокое разочарование жизнью, то чисто человеческое разочарование, которое испытывает именно человек, когда впервые его глаза открываются на жизнь и на его место в жизни. Мопассан отвечал мне, как ни один другой писатель. Мастерство формы, глубина содержания, необычайное проникновение в смысл природы, его французская легкость и сжатость языка, мудрость мысли, отсутствие нашей русской навязчивой тенденциозности, — да, что больше привлекало и увлекало в Мопассане? Возможно, что он всегда так мне близок потому, что в нем яркость жизненных соков уживается со смертельной грустью и большим самосознанием. Доктор разрешил мне взять с собой за границу Мопассана. Он был уверен, он, честный и строгий немец, что Мопассан — легкомысленный и веселый беллетрист. И я обманула немца. Он позволил сделать исключение для одного Мопассана, а все другие книги — и особенно стихи — запретил!

И я укатила за границу лечиться, с отравой в чемодане. <...> Господин придворный советник, главный врач, повел на меня вражескую атаку. Он разрисовал мне спину синим карандашом, мерзавец, из пальца брал кровь, залил меня сливками с маслом и маслом со сливками, назначил углекислые ванны, от которых я едва оставалась жива, заставлял натирать мне тело зеленым мылом и массировать его. Это был поединок, молчаливый, но упорный. Я читала Мопассана. И велико было мое злорадство, когда ученый немец еженедельно меня взвешивал, и еженедельно я теряла в весе. О, я была счастлива!» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 1-2: [71-72 об.]).

ки новизны. Ведь все мои подруги распинаясь за «Дориана», а когда я его прочла и меня «захлестнуло», и столько во мне произошло, и я кинулась к подругам — они не высказали ни одной мысли, достойной этой книги, ни прочувствовали ничего, кроме «интереса». Такие столпы, как Лена, Компанец, Малоземова<sup>1</sup> позорно молчат.

Надо Вам знать, что эта книга наделала у нас революцию. Мама<sup>2</sup> над ней металась (Что за люди! Что за диалоги!), папа<sup>3</sup> рвал на себе волосы.

Теперь у нас говорят только о ней; Уайльд — герой дня. Как, я читала эту книгу? «Да поняла ли ты, болван, в чем дело?» Это гнусная книга, безнравственная, возмутительная по порочности. Что за отношения у Дориана с лордом Генри и Холлуардом? Почему молодые люди кончали самоубийством? О чем написал Дориан тому, кто сжег труп художника? Словом, на меня набросились. Но я и так знала, на что намекают родители... Потом, я ведь знаю и биографию Уайльда, его процесс. Но все эти нравственные сентенции папаши меня не трогали. Было только дико, что в «Дориане» не видят слона, а говорят о букашках менее булавочной головки. Я говорила с папой долго и серьезно, но бесполезно: у нас не нашлось ни одной точки, на которой мы оба согласились бы сговориться. Вот Вам и консерваторка. Это обо мне врут в пику за то, что я люблю классическую литературу, за то, что я не перестаю быть влюбленной в Шекспира и Пушкина, в романтику и Мопассана. Но я люблю, люблю! И будь это старый или новый писатель, а красота у всех оди-

<sup>1</sup> Гимназические подруги, с которыми Фрейденберг общалась и переписывалась всю жизнь. Елена Семеновна Лившиц (о ней и письма к ней см. ниже); Татьяна Компанец, работала бухгалтером, погибла во время во время взятия Харькова в октябре 1942 г., Фрейденберг писала о ней: «даровитая украинка <...>, страстная и скупая, похожая на испанок с картин Золоаги, рано начавшая жить, чувственная, меланхолично-умная, чудно певшая романсы и «хватавшая» за душу» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 1-2: [39]); Мария Платоновна Малоземова (в зам. Шаскольская, 1896-1968): «Насупленная, умная Маруся Малоземова, вся семья которой была революционной <...>, — что заставляло ее вечно помнить о своем королевском достоинстве, избегать улыбок и шалостей», хотя потом она «сменила угрюмую революционность на юбки с разрезом и танго в Европейской гостинице. И стала от этого лучше и мягче» (Там же: [39, 108]), подробнее о семье Малоземовых см.: Малоземов, Гуляев, Шаскольский, 1993).

<sup>2</sup> Фрейденберг Анна Осиповна (1862—1944), сестра Л. О. Пастернака. Была очень эмоциональна и экспансивна, но по части морали — строга и непреклонна: «Страшно наивная, прямолинейная и без всяких обиняков чистая, мама имела тонкую и нежную душу дневного цветка. Страстей она не знала и так и не узнала <...> Мама, как Пастерначка с голубыми глазами, дышала горным воздухом, была, словно перпендикуляр, пряма. У нас не судили людей, не сплетничали и не приземлялись. Но она наивно верила в универсалии. Она верит до сих пор, что ее мораль универсальна, что брак священен, что существует недвижимое имущество добродетели и порока» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 1-2: [32]).

<sup>3</sup> Фрейденберг Михаил (Моисей) Филиппович (Федорович) (1858—1920) — изобретатель, издатель, драматург, журналист, печатался в одесских и петербургских изданиях «Маяк», «Одесский листок», «Пчелка», «Петербургский (Петроградский) листок» и др. В своих воспоминаниях Фрейденберг называет его «подлинно образованным и просвещенным человеком, с широким и ясным умом, с поразительным диапазоном взглядов, глубоко человеческим, земным, многогранным» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 1-2: [25]). Возможно, он пытался уберечь дочь от, по его мнению, раннего знакомства с такого рода «человеческими пороками», но так или иначе огромный авторитет отца не заставил Фрейденберг изменить своему впечатлению от этой книги. (О М.Ф. Фрейденберг см. также: Рогинский, 1950: 1243-1253; Соколов, 1952: 587-602; Щурова, 2012: 314—326; его архив хранится в Музее связи им. А. С. Попова (ф. 5).



Михаил Филиппович и Анна Осиповна Фрейденберги. 1910-е гг.

наково волнует и у всех равно идея разжигает. И я не боюсь и не стыжусь того, что «Дориан Грей» мне дорог также, как некоторые (их немного, таких) классические произведения.

Знаете, мама сказала Лене «в пылу» одно словечко, то, на которое намекал папа, говоря о процессе Уайльда и об отношениях его героев. Если б Вы знали, что случилось с Леной! Она не могла ни есть, ни говорить; она сидела убитая и подавленная. От Уайльда она в ужасе отшатнулась. Как опытный миссионер, мама дала Лене почитать «Пир» Платона, потому что в конце концов, платоническая любовь и есть... любовь Уайльдовская. Когда я в прошлом году читала этот «Пир» — он меня восхитил и открыл новый мир понимания, а теперь что с ним делают! Подумайте, какое святотатство: к новой мысли, к новым горизонтам подходят все с тою же старой житейской моралью! С моралью, которая сама по себе давно уже выдохлась и не годится ни к чорту.

Да, какая интересная книга и сам Уайльд. О ней нельзя говорить, как об обычных книгах, потому что она необычайна; нельзя определять ее реальными словами, потому что она нереальна. Какой-то критик-идиот назвал ее романом из современной жизни. Экий болван! Но мне никогда не пришло бы в голову, что такие люди, как папа, как Лена, как один знакомый, как Мало-земова могут так узко-узко мерять Уайльда.

Очень интересна она по-английски: там кстати стройность слога, лаконичность диалогов, сухость, сжатость и какая-то сплюснутость вверх — наряду с внезапной роскошью слов и витиеватостью целых фраз.

Что за роман этот «Портрет»? Если о нем говорить, как о романе, то пропадает все. Здесь новое творчество, новая идея, воплощенная словами; это не роман, а нечто страшно интимное; не роман, а Дориан Грей. Тут нет старой мерки; нельзя мерять аршином эту ткань — идею, ткань — чистую мысль. Правда, Вы сразу входите в тон интимности Уайльда? Вы не были сразу же согласны на всю нереальность, на отсутствие характеров, на мелодраматичность, на неправдоподобность? Вам не казалось, все наши вот эти жизненные ценности — ерунда! И как интересно это мозговое произведение! Там, в этой книге, столько разных вещей, взятых из нас. Ведь там есть все; Вы помните, Дориан был болен от книги, в которой герой прошел все, прожил всю историю, уничтожил время и пространство.

Уайльд дал соединение разума с чистым духом — и то, и другое в форме самокритики. У него коллизия порока и красоты, молодости и времени, мысли и иллюзии. И после всей этой сложной, такой сложной психологически драмы — из-за грусти в настоящем встает удивительная радость будущего. И сколько есть возможностей, даже теперь! Что же ждет в будущем? Что будет? Как ужасно бутафорна кажется реальность, когда мысль создает такой чистый и новый мир возможности!..

Да, Уайльд есть продолжение Платона. Ибо весь мир его страстей и... преступлений есть ничто иное, как Платоновская идеология. Преемственность идеи: от античных «богов мысли», через человека (как такового) из книги, развратившей Дориана — человека, пронесшего в себе всю историю мира — и до Уайльда, облекшего отвлеченную идею в материю слова.

Кстати, Вы читали его же «De profundis»<sup>1</sup>? Интересно, как «документ» и мыслями о Христе.

Прочла я Гамсуна «Викторию». Она меня не тронула; быть может, я уже сторела на Уайльде. Самое там интересное, в сущности, Ваша мысль: любовь отталкивает людей, а не приближает<sup>2</sup>. Но ведь эта мысль грандиозна; для нее

<sup>1</sup> «De profundis» (лат. «Из глубины [воззвал]») — первые слова покаянного 129 Псалма. Уайльд назвал так свою исповедь, написанную в 1897 г. в Редингтонской тюрьме (в русском переводе «Тюремная исповедь»). Первые издания были с купюрами, касающимися Альфреда Дугласа. Какое читала Фрейденберг, неизвестно.

<sup>2</sup> Выделенная из письма Марка Лившица мысль о Гамсуне «любовь отталкивает людей, а не приближает», что бы она ни означала, осталась с Фрейденберг до конца жизни, причем отнесенная к самой себе: «У меня странно всегда выражалась любовь. Она, по-гамсуновски, была больше отталкивающей, чем притягивающей силой». (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 3: [29]). К. Гамсун был чрезвычайно популярен на рубеже веков, особенно в России, где в 1909 и 1910 вышли два его «полных» собрания сочинений. «Викторию» читал и высоко ставил и другой корреспондент Фрейденберг, Борис Пастернак. И он тоже сохранил память о романе до поздних своих лет. Фрейденберг напишет по поводу статьи Пастернака 1946 года «Замечания к переводам из Шекспира» (Пастернак, 1991: 418): «Меня поразило, что ты ввел Викторию рядом с Войной и миром. Виктория—величайшая вещь, да!» (Пастернак, 2000: 289).

«Виктория» еще слишком конкретна, и не так глубока, как тогда следовало бы ей быть. Беру слово «глубока» не в значении той пошлятины, которой Смирновские наделяют Татьян и Лиз<sup>1</sup>. Да, меня не «разобрал» Гамсун; может быть и оттого, что я уже знаю большую интимность и более тонкий колорит. Но вот что странно. После прочтения меня трясло и я думала, что начинается нервная лихорадка. И как-то обмирала душа. Когда я что-нибудь делаю с жаром, когда ухожу в книгу или слишком «от себя» пишу — словом, когда я отдаюсь чему-нибудь вся — тогда потом меня так трясет и так же что-то болит. И я могла оставаться холодной к роману Гамсуна и к его большим техническим несовершенствам; но остались его описания весны и лета — эти чисто-осенние описания по грусти и блеклости. Потом осталось общее настроение романа — что-то тонкое, как намек, и эта любовь Виктории и Иоганна, и безвылазная их тоска, и ужасные слова учителя — этот лейт-мотив книги, что никогда мы не получаем того, к кому (и даже к чему) мы стремимся... Если же это и возможно, говорит он, то «она сейчас же умирает». Это приемлемо только, как символ; потому что Мопассан шел еще дальше и говорил, что мига такого нет, потому что человек вечно одинок и никогда его стремление к другому человеку не удовлетворится. Я знаю красивое стихотворение:

Я не знаю, за что ты меня полюбила  
И на что ты любовь обрекла:  
Тайну нашей судьбы вековая Сибилла  
В свитке пальмовых листьев сожгла.  
Я не знаю — спасешь ты меня, иль погубишь,  
С жизнью жизнь суждено ли нам слить, —  
Знаю только одно: что когда ты разлюбишь —  
Перестану я жить<sup>2</sup>.

И, конечно, только такая отвлеченность любви и возможность сделать ее безотносительной, любовью во имя любви, только это может спасти от ужаса Гамсуновской мысли. К счастью, он писатель интимный, грустный; а то при расширении этакой темы надо бы сойти с ума.

Ну, Вы не сердитесь, что я залезла в такую глушь? <...>

<sup>1</sup> Смирновский Петр Владимирович (1846-1904) — русский педагог-словесник, автор популярных учебников, в том числе по русской литературе 19 века (Смирновский, 1899-1904), имеются в виду пушкинская героиня Татьяна и тургеневская Лиза.

<sup>2</sup> Восьмое стихотворение из цикла «Искры» (1910) Александра Митрофановича Федорова (1868-1949), русского поэта, прозаика и переводчика.

Ольга Фрейденберг — Марку Лившицу,  
Петроград, 9 декабря [1916] г.<sup>1</sup>

Получила — неожиданно скоро Ваш «человеческий документ». Оказывается, переписка с Вами еще не так безнадежна. Этапы жизни, этапы сердца. Я читала Ваше письмо, как страницу человеческого сердца. Но это не конец еще, Мотя. Вы еще будете перелистывать книгу Вашего жития. Скоро ли дойдем мы до виньетки?

Странная вещь! Меняясь беспрестанно, я попадаю в новую стадию, и чувствую прежде всего не ее новизну, а совсем, совсем другое: что наконец я нашла себя. И всякий раз мне думается: вот теперь я — я. Но где же я истинная? В зале гранд-отеля или у себя в комнате, на юге в ухищренной и изысканной Флоренции или на севере среди деревенской тишины и снега, за тонким парадоксом Уайльда или при стягивании влажного носка с грязной ноги солдата<sup>2</sup>?

И это — этапы; ведь эти «наружные» слова — заголовки глав моей жизни. Вы говорите, что стали сами собой; но кто знает, кто мы? Я до того бесстрастно смотрю по сторонам, что ясно — центр моей жизни только в середине, внутри. Я стала проста, потому что слишком серьезна. У меня такое состояние, словно я у предела. Но чувствую, что предел далеко и я «в полосе».



Марк Лившиц.  
Конец 1910-х—начало 1920-х.  
Из личного архива И. М. Лившиц

<sup>1</sup> Каждый лист письма отмечен печатью: «Вскрыто военной цензурой. г. Петроградъ. Военный цензоръ № 1807».

<sup>2</sup> Речь идет о поездках Фрейденберг за границу после обнаружения у нее туберкулеза в 1911 г. В этом и следующем году она лечилась в Швейцарии, затем путешествовала по Италии (Милан, Флоренция, Болонья, Пиза), проезжая Германию, заезжала во Франкфурт (июль 1912 г.), где произошла известная встреча с Борисом Пастернаком, учившимся тогда в Марбурге: «Я сидела в ресторане своего отеля в огромной летней шляпе, усыпанной розами, и пожирала бифштекс с кровью. Напротив меня стоял лакей, с которым я флиртовала. Я уже привыкла к широкой заграничной жизни, к мужской прислуге, к лакеям, стоящим напротив стола и следящим за ртом и вилкой, к исполнению всех прихотей и капризов. Я привыкла нажимать кнопки и заказывать автомобили, билеты в театр, ванны» (Пастернак, 2000: 67). С 1913 года и до начала Первой мировой войны она ездит в Швецию, в отдаленный городок Эльвдален: «Живу очень странно, словно отделена от всего мира. <...> Все в снегу; окна мои выходят в поле, совсем белое. Тишина полная. Только слышны бубенчики лошадей; и этот звон, такой приятный, в тишине замирает особенно мягко. <...> Словом, воскресшая рождественская сказка: обмершие елки, запущенные снегом люди, бескрайние поля снега и ... некая торжественность духа» (Письмо к О. В. Орбели, декабрь 1913, Архив О. М. Фрейденберг, Москва). С ноября 1914 г. и до конца войны Фрейденберг работала сестрой милосердия в частных лазаретах.





Ольга Фрейденберг —  
сестра милосердия.  
1916 г.

Я еще чего-то не знаю; мне кажется, что я не знаю главного. Ведь то отношение к жизни, которое сейчас у Вас или у меня — оно хорошо; но и это не фундамент. Знаете ли Вы что-нибудь, кроме своего отношения к тому или другому лицу жизни? Я всегда чувствовала, что имею самое главное, потому что глубоко верила. Во что? В Единство; в Творчество; в Мудрость, которую можно было назвать и Красотой. Как «творческий читатель» (слово, умно созданное северянинской школой), как плохонький и комнатный, но «поэт» — я могу жить только в атмосфере насыщенности; мне мало чувствовать или иметь веру — надо жить этим, молиться и упиваться вечно, доходить до экстаза и трепетать. А теперь я бедна, как самый обыкновенный мещанин города Касимова. Я так же триумфально и всецело ушла со своего фундамента, как и берегла его.

Творчество (высшее) и бытие утомили меня и оттолкнули. Я хотела бы найти Бога, но не моего и не рубеновского<sup>1</sup>.

Я могла бы сейчас молиться и плакать только о боге небытия, о какой-то извечной (не люблю этого слова!) тишине, о какой-то точке, незыблемой, единой и неподвижной. Мне не хватает духовной силы, чтоб думать о Творце и Создателе.

<sup>1</sup> Рубен Абгарович Орбели (1880-1943) — старший брат двух известных академиков Иосифа и Леона Орбели, профессор права, один из основателей и преподаватель Тамбовского университета, основоположник подводной археологии. Был женат на гимназической учительнице Фрейденберг Ольге Владимировне Никольской (о ней и письма к ней см. ниже). Какого Бога Фрейденберг называет рубеновским, сказать непросто, так как он именовал себя «свободным христианином», посещал службы любых церквей, с 1912 до середины 1920-х гг. был главою кружка учеников и последователей его собственного социально-религиозного учения, сторонником единства христианских церквей. Выступал в Петрограде и других городах с лекциями и проповедями. пользовавшееся популярностью среди интеллигенции (подробнее см.: Мельник, 1991: 92–94). Фрейденберг вместе с Лившицами (Марком и Еленой) посещала проповеди Р. А. Орбели, хотя в письмах отзывалась об этом с иронией и сочиняла шуточные стихи и рассказы.

Я утомлена верой, идущей на творчество, на вечную работу, как в каком-то колоссальном хозяйстве. Бытие представляется мне таким беспредельным хозяйством, где я — раба вещей и воли своего Господина, и мечтами и действиями стараюсь угодить ему. Я не могу больше молиться Хозяину. Вы относитесь теперь легко и просто к жизни после всего пережитого, после кровавых «эскизов» и смерти тех, кого только что видели и любили. Это от мудрости — думаете Вы? Я думаю — от бессилия. Что же остается делать нам с оскорбленной (кем-то неуловимым) и больной матерью, как не обнимать ее, ухаживать за нею и жалеть? И мы ходим за солдатами, ходим за всеми людьми, — потому что Вы или я братья им и сестры с головы до ног.

Это столько же от мудрости, сколько от горя. Мы просты, потому что бедны, и мы легко, мудро и просто подходим к обыкновенному человеку, оттого что считаем его богаче себя. Фальшивы люди, унижающие себя; а нам стоит только подойти к человеку — и сразу мы в уровень с ним. Эти два года не обогатили нас, а опустошили; во мне бунт и озлобление; и я не хочу называть это мудростью, во имя той святости, которую я знала раньше. Но и это состояние — пока. Как ни хочу я в нем удержаться, а примирение придет, и равнодействующая будет найдена. Главное еще впереди, — ведь жизнь ощущается, как нечто изжитое до конца. Разве нет? Знаете: мы с Вами просты. Но сколько сможем мы этим жить? Я сделала опыт быть искренней до конца — и увидела, что истинная простота и истинное милосердие — беспредельны. Я шла за ними, шла... и увидела себя над бездной, у края которой кончается жизнь и начинается абстрактность. Истинное милосердие делает людей несчастными, потому что оно не имеет границы, а жизнь держится только своей ограниченностью; если сломать перегородки, уничтожить вехи, — получается бездна. У меня есть примеры; если б я могла привести их Вам!

Я сочувствую Вам в Вашем неумении по ком-н[ибудь] скучать. Я тоже привязана к каждой мелочи, держусь за все, — а уеду, и сразу делаюсь



Рубен Абгарович Орбели.  
[Конец 1910 гг.].

Печ. по публ.:

Следков А.Ю. Предшественники  
(братья Орбели) // МемоКлуб.ру  
[Электронный ресурс].  
URL: <https://memoclub.ru/2017/02/predshestvenniki/>  
(дата обращения: 27.05.2019)



Ольга Фрейденберг с солдатом Швецовым.  
1916 г.

странно-свободна, как первобытный человек. Напишу Вам в ближайшем будущем еще, а сейчас искушает тишина и мягкие звуки тлеющей печки. Сяду греться и думать; Белинский сказал ведь, что женщины думают чувствами<sup>1</sup>. А там чай, чай и визит из лазарета, сон и... И опять день с утра.

До скорого. Оля

---

<sup>1</sup> Вероятно, имеется в виду высказывание Белинского: «Женщина мыслит сердцем, а мужчина любит головой» (Белинский, 1979: 258).

**Ольга Фрейденберг — Елене Лившиц<sup>1</sup>,  
Петроград, [октябрь 1919 г.]<sup>2</sup>**

Лена, я хотела к тебе приехать с последним пароходом — так сильно во мне желание сказать тебе, что выход найден — тебе, сопутствовавшей мне по чортовым ходам колебаний. Но я боюсь, что не в 10, а в 11 ч. конец оперы. Почти же это сразу по приезде, до нашей встречи.

Притти к 4-му решению можно было не головой, но исключительно сильнейшей болью. Быть может, смертью; потому что за сегодняшний день я отошла от всего, и все оставила, и умерла, конечно. Но зато такое решение — единственное, достойное смысла моего существования. Уходить, не уходить — это вопросы внешние, так сказать. Свет, чудесный свет открыл мне внутреннюю постановку вопроса. И я поразились,

до чего она проста и единственно возможна, и как головой, умом я до всего могла додуматься, кроме нее в этой простоте неизбежности. И она такова: быть мне такой, какова я сегодня, или быть иной. Сегодня — страдание самое невыразимое, самое невоплотимое ни в чем, кроме самого себя; сегодня,



Елена Лившиц —  
сестра милосердия.  
[1914–1916 гг.]

<sup>1</sup> Лившиц Елена Семеновна (1891–1972) — гимназическая подруга Фрейденберг. После окончания гимназии хотела стать художницей, занималась на курсах при Академии художеств. Но чтобы помочь продолжить образование своим братьям и сестрам получила образование и стала работать стоматологом. Блокаду пережила в Ленинграде, работая участковым врачом. После выхода на пенсию возобновила занятия живописью, занималась в художественных студиях.

<sup>2</sup> Это и следующее письмо, письмо ближайшей подруге и любимой учительнице посвящено сложной для Фрейденберг ситуации выбора своего пути в образовании, в будущей науке и что более важно — в жизни и любви. Речь идет об отношении к Ивану Ивановичу Толстому, университетскому учителю Фрейденберг, которым она была увлечена: «греческий язык казался самым легким и увлекательным на свете, а неправильные глаголы конфетами. Что это были за занятия, боже мой! Упоенье, светозарное счастье. Я училась, я знала, как богиня» (Фрейденберг, 1991: 151). Но так или иначе наступает разочарование — хотя, быть может, поначалу она сама была рада обманываться. Фрейденберг считает невозможным продолжать обучение у Толстого и решает покинуть университет. Это не первая ее попытка уйти. В октябре 1918 г. умирает молодой, тяжело больной профессор А. К. Бороздин, преподававший древнерусскую литературу, у которого она также самозабвенно училась, и под влиянием этой опустошительной смерти она решает — покинуть университет. В той ситуации Толстой «положительно спас меня, в самом буквальном смысле этого слова, тем только, что в критические дни моей жизни он так же писал слова на доске и так же вскрывал их дух, как и до этого по пятницам. И “выпасть” не смела и я, ибо вне меня находилось нечто объективное и живое, рожденное и мною, и бросить которое я не могла» (Костенко, 2018: 141).



Прапорщик  
Иван Иванович Димитриев.  
25 августа 1915 г.

собственно, 15-й год<sup>1</sup>; отмирание; смерть, — и необходимость жить, двигаться, пускать ростки в этом состоянии разложения и внутренней вони. Словом, меня нет и я есть; ты сказала — 5 лет; но ведь проволока надо себя на расстоянии 5-ти лет, — когда за 5 минут вся кровь отходит от мозга. Я сегодняшняя — несостоятельна. Нужно стать иной. Какой? Духовно живой. Нравственно крепкой. Новой. Нужно все это горе последних дней пережить и претворить, прогнать сквозь строй мыслей и чувств до конца — и внутренне переродиться. Да, родиться заново. Еще и еще родиться — в который раз? Во всякий, когда приходит испытание. Надо не то, что сделаться гордой — и реагировать или нет, уходить или нет. Это детали. Нужно посмотреть в глубь. Взмахнуть крылами — и пролететь этажом выше над всем, и самой глав-

ное — над этой своей гордостью, над своими страданиями, над совокупностью себя. Да, да — переродиться. Это неотступно теперь. Нельзя мириться с таким рабством. <...> Что за победа уйти? Или остаться? — Игра самолюбия, жалких сегодняшних чувств. И вот за эти дни убедилась, что без У[ниверсите]та жить не могу, потому что нечем. Я подняла голову и «что-то» отыскала. Оно есть. И я буду идти за ним и буду учиться, изменив всю систему своего ученья. Она была ложна, поверхностна, внешня. Рука, указующая мне, рука, ведущая меня — это моя поразительная Мойра, мой чудесный Дух — мудрее и благоднее меня. Все закономерно и все хорошо — «тяжелы только эти миги»<sup>2</sup>. И то, что я не получила работы — самое нужное и наиболее требующее благоговейного трепета<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Речь идет о духовном кризисе 1915 г., связанном со смертью И. И. Димитриева (см. предисловие к наст. публ.).

<sup>2</sup> Строка из стихотворения А. А. Блока «Молитвы», 1904 г. (4. Ночная)

<sup>3</sup> Работа — задание от Толстого на каникулы: «Я ждала на каникулы темы, занятий, разговоров, какой-то предметности внутреннего с Толстым общения. То, что он отпустил меня “без ничего”, поразило меня прямо в сердце» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 3: 42).

Сегодня я была у точки — и этим днем искупила и закрепила очень, очень многое. Какое же еще решение могло бы соответствовать духу моего отношения к жизни? Правда, оно очень житейски трудно и требует огромной силы; но я претворю в силу все, испытанное за эти дни.

Приходи, я прочту тебе письмо к И. И.<sup>1</sup> Не удивляйся; ведь я совсем свободна и «изолирована». Мои движения сейчас свободны, как у балерины или юродивого.

Пока.

Оля

**Ольга Фрейденберг —  
Ольге Владимировне Орбели<sup>2</sup>,  
[Петроград — Тамбов], 5 ноября 1919 г.**

<...> Ольга Владимировна, мне вдруг дана возможность Вам писать, и это было так мало осуществимо и говорить хотелось о таком для себя важном, что сразу, врасплох — даже не можешь писать. Тем более, что сижу на плите и пишу на рыбной доске. Жизнь ведем звериную — да нет, это сказано несправедливо; ведем такую жизнь, какую могут создать нравственно искаженные люди, мучающие во имя идеала. Мучительство именем блага — это исключительное духовное уродство, «точка» человеческой извращенности<sup>3</sup>. Но



Ольга Владимировна Орбели.  
1916 г.  
Петроград

<sup>1</sup> Иван Иванович Толстой. О письме к нему и его ответе см. ниже письмо О. В. Орбели.

<sup>2</sup> Ольга Владимировна Орбели (1878–1953) — дочь Владимира Васильевича Никольского (1837–1883), профессора Петербургской духовной академии, преподавателя Александровского лицея, сестра Бориса Владимировича Никольского (1875–1919), поэта, литературного критика, историка римского права, активного деятеля правомонархического движения, расстрелянного 11 июня в 1919 г. в Петрограде, жена Рубена Абгаровича Орбели и мать Русудан Рубеновны, будущей душеприказчицы Фрейденберг. Окончила Смольный институт в 1895 г., затем с отличием историко-филологическое отделение Бестужевских курсов, преподавала русский язык и литературу в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда, в том числе в гимназии Е. М. Гедда, в которой училась Фрейденберг. Подробнее см.: Костенко, 2018: 138–139.

<sup>3</sup> Подробнее об этом времени Фрейденберг написала Орбели в июне 1920 г. (см. ниже), а много лет спустя в воспоминаниях обобщила пережитое: «Это было время величайших житейских бедствий. На пышном языке истории оно называется революцией, и юность думает, что это Карл Моор, Робеспьер, какая-то великая романтика. А на самом деле это были Зиновьев и Троцкий, обнаглевшая сытость, которая морила голодом и бесправием миллионы людей. Страшная вещь революция! Она заменяет одну форму насилия другой, и процесс стаскивания за ноги одного класса эксплуататоров и водворения другого ужасен. Россия расплзалась, как прогнившая тряпка. Это называлось диктатурой пролетариата. Царство Троцких и Зиновьевых было живой могилой. Голод, митинги с утра до вечера на всех тротуарах и мостовых, черный рынок, даровые переизнасилованные трамваи; все было даром — квартиры, аптеки, человеческие жизни. Разруха — национальный русский термин. Стихийный распад». (Фрейденберг, 2017: 27–28).



Ольга Фрейденберг.  
Фотография из личного дела  
студентки Петроградского университета  
(ЦГА СПб)

это все постолько, поскольку всякий тащит свою телегу жизни. Главное же все-таки не в этом, а в другой жизни, во внутренней. И мои несчастья были заключены именно здесь. Трудно сейчас говорить об этом, потому что все эти чувства уже изжиты. Как не помню мучений скарлатины, бывшей когда-то у меня, так не хочу помнить и этого тяжелого пути. Один лейтмотив остался до сих пор: как незаменимо для меня Ваше отсутствие! Незаменимо до того, что я уже стала думать об его высшем смысле: так, видно, надо.

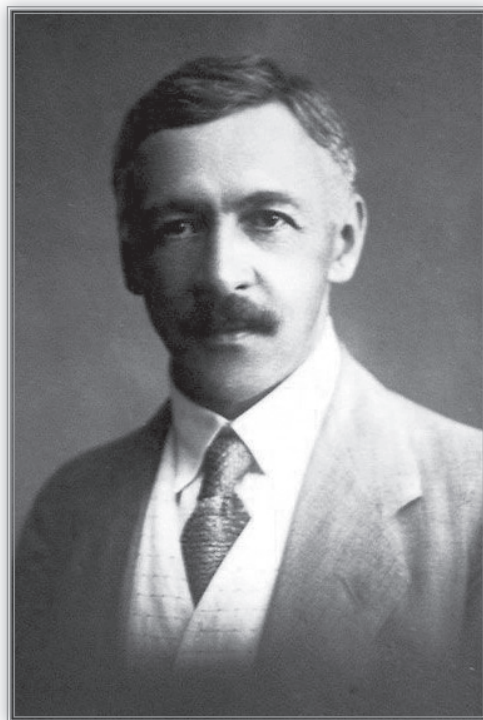
Знаю, что письмо попадет к Вам непременно, что минует оно чужих глаз; и все же не пишется. Теперь, когда можно! «Земное счастье запоздало!»<sup>1</sup>

Я было ушла из Ун[иверсите]та; вот вывод, который могу сделать из всего пережитого. Моя университетская жизнь сложилась неудачно: на русском отделении решительно не у кого было работать. Неудачны оказались и мои удачи на классическом отделении: от своего берега я отстала, а на

чужом сидел Ив. Ив. Толстой, и то, что я пристала к этому чужому берегу, и было самым фатальным. На эту опасность Вы мне указали бы, и Вы могли бы решить — как быть со своим отделением. Теперь, когда «игра сделана» и я бесповоротно стала классиком, я увидела, что весь вопрос был мною неправильно поставлен, и что я уже останусь калеккой. Поразительно все вело к этому: моя общая потерянности, отсутствие руки направляющей, губительное сцепление условий и случаев. Ах, не верю я во все это — во все эти случаи и сцепления! Но тут и заключается мучительный момент: верить ли жизни, верить ли духу, невидимому и бездоказательному? И вопрос этот стал в моей душе еще летом. Дело в том, что я со страстью занималась у И[вана] И[вановича], и — на мою беду — с особенным увлечением обучал и он. Я много должна была бы говорить об этом, раз коснулась этого; но Вы поймете, что такие

<sup>1</sup> Строка из стихотворения Блока «Она, как прежде, захотела...» (1908).

вещи не пишутся. Вышло, в общем, так, что заниматься я должна была у И. И. главным образом, ибо он стал осью моей ун[иверситет]ской жизни; да и не ей одной, раз все основное университетское есть и свое личное. Разве можно душу делить на департаменты? Но вышло и так, что заниматься у него мне стало невозможно. Быть может, я могла бы, если б легче смотрела на жизнь и не видела в себе носильщика, который должен дотащить временную ношу в целости до назначенного места. Случайности я не принимаю. Пусть ошибочно; но если мир перевернется, если истина обнажится, я и тогда захочу остаться с пониманием жизни как единства. Что дано и что не дано, что я должна принять в свою жизнь и что отбросить — вот вопрос, который был мне важнее личных чувств и услад самолюбия. И от того, что только в духовной сущности могли разрешаться мои вопросы, мелкие факты жизни, быть может, ничтожные — выросли не по заслугам. Все знают, что я ушла из Ун[иверсите]та из-за таких-то и таких-то фактов; но на самом деле я ушла потому, что не могла изменить своему пониманию жизни. Я ушла, как только почувствовала, что иду по пути случайностей и наносных явлений; что мое, органическое, зарывается глубже и глубже. Это слова; но смысл их содержания так вымучен мною! И вот лето, полное беспокойства, напряжения, тоски. Наконец, решение — и обманное спокойствие. Ибо один факт жизни показал, что такой мой уход невыполним. Тогда я решила уйти временно, на один семестр, чтоб уйти только из чуждого мира И[вана] И[вановича]. Но и это не удалось; я оказалась неумелой в теоретизации жизни, и в тот момент, когда теория осуществлялась, я вдруг почувствовала великую потребность, «изгнать беса» и на все перипетии жизни, и на весь ее лживый *bon ton*, на все зигзаги умствований — ответить голосом сердца, всегда ясным и простым; и все покрыть им — до своей репутации включительно. Так я и сделала — в минуту сильной тоски, когда житейский свет меркнет, а сияет совсем, совсем иной. Я написала И[вану] И[вановичу] письмо, но такое, какое можно написать Вам и Рубену Абгаровичу, но не полированному И[вану] И[вановичу]. Он, по-видимому, его не понял, и отсюда пошли последствия чисто житейские: отношения испортились, и чем становились хуже, тем галантнее И[ван]



Иван Иванович Толстой.  
Из архива  
Н. А. Чистяковой





Григорий Филлимонович Церетели

И[осиф] А[бгарович]<sup>4</sup> бранит его, к[а]к человека; но уж Бог с ними, с человеческими качествами профессоров. Впервые — у Церетели — я почувствовала себя в университете; сидишь в лаборатории, где учишься непрерывно. Ведь он по Менандру — европейская величина, ни в одном университете нельзя изучать Менандра и не знать Церетели. Кроме того, он поэт-переводчик; получаешь Менандра из первых рук, да еще каждое слово — буквально! — часами изучается и выстрадывается. Все время идет комментарий —

И[ванович] придавал им форму самую дружелюбную. Он повлиял на меня, чтоб я вернулась в Ун[иверситет] и оставила русск[ое] отделение ради классического<sup>1</sup>. Я же сделала это по иной причине: я успела убедиться, что слишком многое заключено для меня в У[ниверситете], что обойтись без него я уже не могу, и что неосмотрительно и неумело я всеми корнями осела на чужой почве. И гнить на ней — вот ближайший мой удел.

Итак, я занимаюсь у И[вана] И[вановича] (всего меньше, в силу уродливых житейских условностей), у Жебелева<sup>2</sup> (где отдыхаю душой) и с недавних пор у Церетели<sup>3</sup> (по настойчивому желанию И[вана] И[вановича]).

<sup>1</sup> См. выше прим. 17.

<sup>2</sup> Сергей Александрович Жебелев (1867–1941) — филолог-классик, историк-эллинист, археолог и эпиграфист. Руководитель будущей работы Фрейденберг над апокрифом «Деяниями Павла и Феклы» и, написанной на ее основе диссертации «Происхождение греческого романа» (1924). Подробнее о занятиях у Жебелева и других профессоров см.: Костенко, 2018: 150; Фрейденберг, 1991: 152–153.

<sup>3</sup> Григорий Филлимонович Церетели (1870–1939) — филолог-классик, мировая величина в папирологии, член-корреспондент Российской академии наук (1917), преподаватель (1914–1920) и заведующий кафедрой классической филологии (1916–1920) Петроградского университета, переводчик греческой литературы. Фрейденберг говорит о нем только хорошо и сочувственно, а его биограф, несомненно высоко ставивший ученого, характеризует его как вспыльчивого, обидчивого, импульсивного человека со склонностью к шовинизму, ксенофобии и антисемитизму, принимавшей в молодые годы патологические размеры (Фихман, 1995: 256–258), а также «болезненное стремление находить ошибки и недочеты у своих коллег, выставить их в невыгодном свете» (Там же: 253).

<sup>4</sup> Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961) — младший из братьев Орбели, советский востоковед, академик АН СССР (1935), академик и первый президент Академии наук Армянской ССР (1943–1947), директор Эрмитажа (1934–1951), в описываемое время профессор на кафедре истории восточного искусства.

реальный, грамматический и литературный; творчество, «кровный интерес» одухотворяет эти штудии. Язык он знает в совершенстве; свободно оживает греч[еский] язык, изучается и претворяется в разговорные формы. И[вану] И[вановичу] это, конечно, не под силу. Кроме того, приятна самая его «манера» профессорства: всякому интересу дается воплощение, и потому широта сопутствует самому кропотливому изучению. Отношения с учениками свободные, в духе того равенства, где сам ученик подчеркивает свое уважение к профессору. Это больное место у И[вана] И[вановича], тягостно любезного и предупредительного, но на самом деле недоступного и необщительного. Интерес, рожденный им же, никогда не находит выражения ни в чем; «Мне очень приятно, что вы это отметили» — вот все, что он дает голодной душе.

Школа меня ждет отличная. Вспоминается русск[ое] отделение, к[а]к что-то поистине жалкое. Но каково мое будущее? Что я буду делать с греч[еским] языком? Специализироваться на нем я не могу: такого фундамента И[ван] И[ванович] не дал. Он дал импровизацию, чутье, наскок; но и сам он не ждет от меня специализации. Но я руководствовалась только его указаниями; а он желал для меня классицизма, и сказал убедительные слова: «Помните, что это вам говорит человек, который хорошо вас знает».

Много уже мной передумано и «перестрадано», но утешение одно: я старалась не поступать самостоятельно, не делать дел руками своими. И потому было страшно сомнение: а есть ли рука, ведущая меня? а есть ли линия единая жизни? А сомнение для меня — всегда крах.

Вот почему так тяжело мне было без Вас и без Р[убена] А[бгаровича]. Во мне большое, душевное участие принимала Маруся [Малоземова]; она знала шаг за шагом мою историю и сопереживала ее. Но у нас разное восприятие жизни; она верит в радость жизни, я — в верность жизни. Она любит процесс жизни, я дух жизни. И так помочь друг другу мы не можем.

Моя «исповедь» в схеме рассказана. Если б я могла передать ее в живых словах и услышать Ваш живой голос! «Но так и быть...»<sup>1</sup>

Кончаю, чем начала: нашим приветом и горячим — хочется сказать — глубоким! — моим поцелуем. Будьте все здоровы!

Ваша Оля

<sup>1</sup> Аллюзия к письму Татьяны Онегину: «Но так и быть! Судьбу мою отныне я тебе вручаю».

Ольга Фрейденберг — Ольге Владимировне Орбели,  
Петроград — [Тамбов], 7 июня 1920 г.

Дорогая Ольга Владимировна!

Видела Вас во сне и радостно думала: теперь моя жизнь пойдет счастливо! Но проснулась — жизнь все та же. Зато у И[осифа] А[бгаровича] есть от Вас известия; слава Богу, Вы живы и здоровы.

Как кошмарно было время, когда я писала Вам в последний раз! Быть может, и сейчас так же; но тогда был октябрь — во всей полноте этого символического слова — а сейчас май. День серый, суровый, петербургский, на душе много тяжелого, но все же это — трудно идущая жизнь, а не бред. Потом было еще хуже. Зима прошла ужасная. Мы все вылезли из нее, к[а]к из гробов, где лежали заживо замуравленные. Впрочем, сравнение неверно: то мучение было бы примитивнее. Холод мертвящий, несытость, жизнь всем семейством в одной кухне (папа спал на досках, положенных поверх ванны — в темном склепе), заботы о полене, которого завтра не будет, горести без конца — и еще многое, многое иное, что приносит с собой жизнь каждый день. В этой обстановке, с октября по январь, я пролежала в плеврите; температура не падала — и мне только и оставалось, что вернуться к «нормальной жизни». И впечатление от этой зимы — это полная утрата сил, мучительный озноб, одуревшие мозги, четыре стены — и в полной темноте скрип маятника. Абсолютная разобщенность с внешним миром — для меня — и тоска, заедающая сердце. И вот первая вылазка в свет. Целый период сплошных неудач. Столько было пережито, столько переборено, что, в конце концов, настал день, когда я почувствовала, что жизнь во мне перегорела и что я стою уже вне ее. Легко и просто казалось умереть; моя смерть до того была оправдана жизнью, ей предшествовавшей, что она прощалась — я это чувствовала; быть может, мне казалось, это просто мой срок, призыв меня à la maison<sup>1</sup> — до того я чувствовала моральное право на нее. Это было слишком серьезно и глубоко, и потому до скупости кратко: все итоги подведены, вся техника обдумана; и как только я увидела, что все это житейски невозможно, так сразу же я стала продолжать свою жизнь. Значит, я не поняла того момента: я оставила его, и вот буду ждать его опять, никогда о нем не думая. Но если жить, надо жить усердно; и я сразу же принялась за занятия. Мне ужасно не везло; одна, без руководства, без совета самого малого, я ушла в большую научную работу: занялась греческим житием св. Феклы на русской почве, с громадными, по неопытности, задачами — с установлением источников, генеалогией славянских текстов, анализом легенды etc. После того

---

<sup>1</sup> Домой (фр.)

дня, о котором я сейчас написала, какая-то строгость залегла в моей душе; я суровее стала относиться к окружающему, а, быть может, бесстрашнее, с большей внутренней свободой. Многие от меня отпало. В таком состоянии подошла весна. Я ждала ее страстно, и встретила сдержанно. Когда шла я к профессору, чтоб рассказать о завершённом первом периоде работы, к тому профессору, который был мне так нужен, которого я так лихорадочно искала долгие месяцы (В. В. Буш) — я была внутренне к нему холодна, и чувствовала, что уже не на этом берегу моя высадка, а на том, где я карабкалась одна. И в жизни всегда так бывает: оказалось, что мои пески — камень, неудачи — успех, контуры — основа. На меня посыпались «лавры» (мои все рукописи в московских лаврах, и отсюда термин упрочен), со мной стали носиться, я сделалась *persona grata*. Два месяца сосредоточенной, одинокой работы дали необычные результаты. Ряд вопросов, поставленных мной, заволновал ученые головы; доклады о ходе работ, читанные мною, вызывали интерес и усиливали успех. Я пристально смотрела изнутри себя на все это, иначе квалифицируя многое и делая выводы с той свободой, которая в условиях жизни могла бы казаться лицемерной. Наконец, история докатилась до Шахматова, и он предложил мне научную командировку в Москву от Академии Наук; а я его никогда и в глаза не видела!<sup>1</sup> Все это меня приободрило, и я решила поговорить с таким пугалом, к[а]к Жебелев: до сих пор я была на славянской почве<sup>2</sup>. Здесь успех превзошел все самые анекдотические ожидания: Жебелев, сам прошедший кошмарную зиму, сказал, что получил такую радость, которая заставила его забыть все невзгоды и жить полной жизнью. Был высокий и патетический момент, когда он утешал меня и указывал на высшее счастье, которым отныне я должна быть счастлива. Все неудачи мои, сказал он, за-

<sup>1</sup> Алексей Александрович Шахматов (1864 — август 1920) — русский филолог, лингвист, историк, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы. В описываемое время — председатель Отделения русского языка и словесности РАН. Фрейденберг бывала на его лекциях, но не училась у него и близко знакома не была (Фрейденберг, 1991: 148-149).

<sup>2</sup> В семинарии Жебелева читали греческие апокрифические «Деяния Павла и Феклы», раннехристианское сочинение II в. После того, как весной 1920 г. результаты занятий славянскими переводами апокрифа («славянской Феклой») были высоко оценены и Бушем, и Жебелевым, Фрейденберг пришла к Жебелеву, желая под его руководством заниматься греческим оригиналом «Деяний». Еще осенью 1919 г. издание греческой Феклы осталось дома у заболевшей Фрейденберг на долгий срок ее болезни. Случайная книга приковала к себе внимание: «Я не знала, что это за жанр, почему он так поэтичен. Многие говорили моему сердцу: его какое-то своеобразие, его ритмы, его лица и образ их поведения» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 4: [31]) Апокриф сыграл решающую роль в формировании ее новаторских идей о происхождении греческого романа, а впоследствии в формировании ее литературной теории. Апокриф стал в некоторой степени и «научным руководителем», в котором она так нуждалась: «Чтоб понять, что такое Фекла, я кинулась изучать христианистику, историю церкви, христианскую археологию, каноны и апокрифы, агиографию» (Там же: [33-33 об.]). «Публичная библиотека была моим университетом. Здесь я читала, здесь училась, здесь все ученые без всякого академизма давали мне разнообразные консультации» (Там же: [32 об.]). Из этой работы выросла в скором времени диссертация «Происхождение греческого романа» (защита в 1924 г.), опередившая мировую науку на много десятилетий (подробнее см.: Брагинская, 2010: 34-62).

лог моего успеха; то, что я была одна и без чьей-либо помощи, должно дать мне удовлетворение, потому что я прошла сложный путь самостоятельно и вынесла большее, чем пятилетнее университетское ученье. Этот холодный и сдержанный человек раскрылся; моя душа радостно отдалась ему, и мы оба были взволнованы и очень искренни. Его два-три указания сразу ввели меня в русло, отмели все лишнее, разрешили все сомнения. Буш, профессор молодой, решительно беспомощен: я ничего от него не имею<sup>1</sup>. Но Жебелев сделал мазок, другой — и картина получила право на существование. Благодаря его протекторату моя работа может протекать в царских условиях; вся греческая ее часть взята на себя им. После этого разговора Буш отправился к нему на дом решать мои судьбы; в результате Жебелев имел частное совещание с деканом Приселковым<sup>2</sup> и председателем филологов Петровым<sup>3</sup> (теперь отделение состоит из всех «национальностей», ибо идет по линии филологии; то же с историей etc., а соединение всех их — «факультет обществ[енных] наук»); дело в том, что ни у Академии, ни у Ун[иверсите]та нет совсем денег, ассигновки не выдаются, а «экономка» — правление Унив[ерсите]та — есть инстанция «разъясняющая». Одно время моя командировка была поэтому лишь проблематична. А затем я получила повестку от Ак[адемии] Н[аук], что на заседании я прошла: шикарная подпись Шахматова и... 1.000 р. денег<sup>4</sup>; одновременно на общем заседании факультета Буш сделал обо мне доклад и прочел записку Жебелева, — прошла и здесь. Дали мне 10.000 р.; возражал один Пергамент<sup>5</sup>, но упорно, находя такую трату сейчас — расточительной. Теперь самое забавное: когда дело сделано, лавры мои запечатаны (спорят о ризницах совдеп с общ[еств]вом по охране др[евних] памятн[иков]), а греческие рукописи Синод[альной] библиот[еки] лежат в за-

<sup>1</sup> Владимир Владимирович Буш (1888–1934) — литературовед, фольклорист, краевед, библиограф, участник Пушкинского семинара Венгерова, сотрудник Книжной палаты, участвовал в создании Ташкентского университета (1920–1922) и в работе Саратовского университета (1924–1931). Жалобы на Буша сменились высокой оценкой его качеств как преподавателя, так и человека, в архиве Фрейденберг сохранилась небольшая статья о нем «Настоящий учитель: (памяти В. В. Буша)» (1936). В воспоминаниях она написала о нем: «Это единственный человек в моей жизни, для которого всякий поступок требовал действительного результата. В сущности, это и была настоящая честность. Он сделал обо мне представление в Академию Наук, а позже, опираясь на Жебелева, и на факультете» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 4: [16]).

<sup>2</sup> Приселков Михаил Дмитриевич (1881–1941) — историк, источниковед, исследователь русского летописания, ученик Шахматова, в 1920–1921 г. декан Факультета общественных наук (ФОН).

<sup>3</sup> Петров Дмитрий Константинович (1872–1925) — историк литературы, специалист по романским литературе и языкам, основатель русской научной испанистики. Фрейденберг в воспоминаниях писала, что знала и любила старинную испанскую литературу и именно из интереса к ней решила пойти в университет в 1917 г., но ученичество у Петрова не состоялось (Костенко, 2018: 144).

<sup>4</sup> Письмо из Отделения русского языка и словесности РАН с подписью Шахматова и «талоном к ассигновке» от 26 мая 1920 г. сохранилось в архиве Фрейденберг.

<sup>5</sup> Пергамент Михаил Яковлевич (1866–1932) — правовед, в описываемое время профессор ФОН Петроградского университета.

шитых рогожах на полу Историч[еского] музея<sup>1</sup>. Без поездки этой работа не может двинуться. — Вот и шипы, и розы моей жизни. После всех этих почестей пришла домой и всю ночь горько плакала. Чувствую себя неспособной к такому подвижничеству; смотрю на это доверие профессоров, как на бремя. Меня словно облачают — и в этом святость момента, но плотское начало еще сильнее, и ризы и пугают, и делаются веригами. Меня посвящают. Но что сильнее — радость или ужас? Во мне столько изжито, столько потушено, что мысль о подвижничестве, о служении — вызывает горечь и чувство краха; как будто я одна только могу знать всю степень своей непригодности, ибо внутренно я страшусь и мучусь от того, что на меня накладывается.

-----

Несколько часов отделяет те строки от этих, но между ними — целая жизнь. Температура опять у меня поднялась, и я пошла на консультацию к пр[офессору] Рубелю, специалисту по легочн[ым] болезням<sup>2</sup>. И вот пришла с диагнозом: туберкулез. Какая бесчеловечная правда! — кому она нужна! Он все мог бы сказать, без этой профессорской самодовольной категоричности. Сразу, одним словом, он убил мне жизнь. Нужно, говорит он, немедленно уехать, и месяца два жить на юге или на кумысе. Хорошо сказано! В разгаре занятий — потеря трудоспособности: мне все запрещено, и предложено погрузиться в нирвану. А в семье у нас ужасный момент: папа очень плох, сердце ослаблено, лежал все последнее время, и — тоже по настоянию врача — сейчас живет на берегу Невы, в семье немецких колонистов; туда с героическими усилиями устроил его мой брат<sup>3</sup>. Мама — одна тень; доктор уже сделал ей предостережение.

Денег нет, живем все время случайностями и, собственно, неизвестно, чем. О болезни моей никто, кроме Лившиц, не знает. Бог наказал меня за то, о чем я Вам выше писала: мне суждено в один день, на том же листе написать обе формулировки. Не уход от жизни страшен, а медленное распадение, и самое непередаваемое — мама. Возможно жить только, пока она не знает. Силы меня покидают, голова затемнена, словно обложена ватой. Маруся [Малоземова] на даче в Вырице; я на недельку, б[ыть] м[ожет], смогу к ней

<sup>1</sup> В 1918 г. Синодальная библиотека была национализирована, и собрание рукописей и грамот передано Историческому музею.

<sup>2</sup> Аркадий Николаевич Рубель (1867–1938) — врач, специалист по легочной патологии, в том числе туберкулезу. С 1903 по 1914 г. директор летнего кумысолечебного санатория. В 1918 г. создал и возглавил первую в Петрограде Центральную туберкулезную станцию со стационаром (впоследствии Центральный показательный диспансер). С 1920 г. был профессором Государственного института медицинских знаний (ныне Ленинградский санитарно-гигиенический институт).

<sup>3</sup> Александр Михайлович Михайлов, см. примечание о нем ниже.



Анна Осиповна Фрейденберг.  
1910-е гг.

поехать. Самое ужасное, что сделал этот доктор, это то, что он дал мне *idée fixe*; и потребовал нирваны.

С Иваном Ивановичем у меня такие же академические отношения, но по существу душевные и глубокие. Мне очень трудно будет огорчить его даже смягченным приговором. А, быть может, все это разрешит те трудности, которые клубком сжались у моего сердца и у моей жизни. Природа дает равновесие во всем; тяжелы только эти первые дни, а там и они приспособятся.

Целую Вас, Рубена Абгаровича и Русю<sup>1</sup> горячо. Получила бы громадную радость, если Вы мне что-н[и-будь] о вас написали. Ваша Оля.

### Ольга Фрейденберг — Ольге Владимировне Орбели [Петроград — Тамбов], 14 октября 1920 г.

*опять октябрь, 14*

Дорогая Ольга Владимировна! С большим волнением получила от Вас письмо. Вы чувствуете и на расстоянии, что у нас горе. Папа скончался 19-го июля старого стиля, неожиданно скоро; увы, неожиданно — при полной неизбежности и подготовленности, все же неожиданно... Как удар, которого к[а]к будто совсем не ждали.

Мы живем печально и очень тесно втроем, ведь у нас здесь совсем никого нет. Боялись очень за маму, но нам помогла скупость нынешней жизни, лишаящей даже «роскоши» горя и зовущей к мелочным трудам; без маминой работы мы пропали бы, а у мамы судорожное желание жить для нас. Но когда кончается день и наступают вечера — в самой тишине чувствуется то, о чем днем не говорится. Удивительно раскрылся характер брата<sup>2</sup>; мы никогда

<sup>1</sup> Русудан Рубеновна Орбели, см. предисловие к настоящей публикации.

<sup>2</sup> Александр Михайлович Михайлов (Фрейденберг, 1884–1938), инженер, талантливый изобретатель, нумизмат. О его характере и отношении к близким Фрейденберг писала: «Взбалмошный, недисциплинированный, буйный,



Михаил Филиппович Фрейденберг за работой. 1910-е гг.

не знали сколько в нем теплоты и нежности. Он совершенно отдался нам, и с необыкновенной заботливостью нас опекает.

Мое здоровье, в связи со всем пережитым, потерпело большой крах. Не знаю, как сейчас, но вскоре после этого оказалось задетым и левое легкое. Брат очень меня подкормил, в весе я прибавляюсь, но темпе[ратура] остается постоянно 37–37,5. Вечная осторожность и вечная настороженность делают из меня больше психически, нежели фактически, больную.

---

как ветер, он по-своему, очень странно смотрел на мир, был гениально талантлив (играл, лепил, рисовал), знал, как отец, все ремесла, был лишен самых элементарных черт буржуазной культуры. Этот человек ничему не подчинялся, жил в стороне от общепринятого. Скромный, застенчивый и дикий, он мог буянить и плевать в лицо каким угодно авторитетам. Чины, возрасты, общественная значимость в его глазах не различались, как цвета: он был дальтонист (и сильно заикался). Его широкая натура, страсть к сопротивлению всему тому, что считало себя правомочным, — в том числе и к злу, — делало его совершенно необычным. Для него все житейские узаконенья и люди казались баней, где все одинаково голы и отличаются только телосложением. <...> Сердцем он всех нас глубоко любил, но языком глумился, и несчастная, вечно зависимая мать (которую он буквально обожал и которой был особенно близок) не раз хотела наложить на себя руки из-за страшной его опеки. Меня он, нежно любя, преследовал. А нащупав мою слабую сторону, преследовал мою науку, оскорблял — и гордился мной. <...> Доведа нас с мамой до обморока, он отправлялся в магазин и приносил в нереальных количествах всяких деликатесов, обнимал нас и весело угощал, с гениальным остроумием выдумывая сценки о нас, о людях, о знакомых, — и все это поражало неожиданными сопоставлениями, смелостью мысли, необыкновенной свежестью чувства и юмора» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 5: [47]). Арестован в 1937 г. и расстрелян. Подробнее о нем см.: Тюляков, 2009).



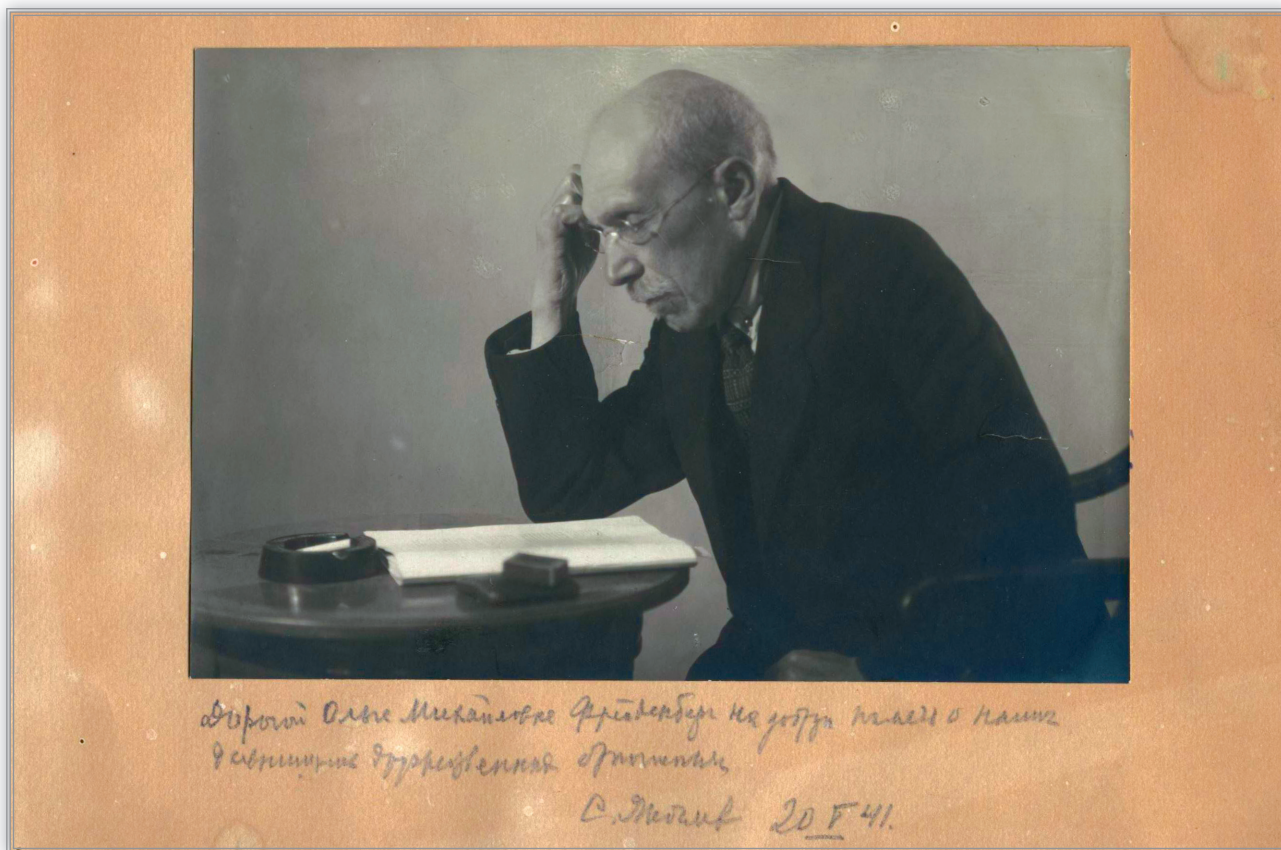


Александр Михайлович Михайлов.  
[Конец 1910-х — начало 1920-е гг.]

Возобновила занятия, но далеко не в прежнем масштабе. Не смея расходовать внутренних сил, да и просто бегать осенью в ун[иверси]тет, я ограничилась только самым необходимым (для души); будь я здорова, я именно теперь занялась бы формальной стороной, чтоб с ней покончить. Волею судеб, моим главным учителем и руководителем стал Жебелев.

В Москву я так и не поехала — библиотеки с рукописями все еще закрыты — а была Жебелевым послана к академику Истрину<sup>1</sup>, ушедшему на покой из ун[иверсите]та, типичному кабинетному ученому. Он, по просьбе Жебелева, меня принял — для наставлений в области славяно-русской; увы, славист сказывается быстро в узости своего образования, а потому и метода. Славянский текст для него выхвачен из неведомого мира, Россия тем паче — нечто само по себе, а мир — сам по себе. Для меня же, по природе моей, каждый отдел знания важен, как утверждение законов бытия и связь с ними. В филологической истории текста есть та же красота и то же величие, что и в истории человеческой или естественной. В конце концов, Жебелев очень

<sup>1</sup> Василий Михайлович Истрин (1865–1937) — литературовед, специалист по древнеславянским памятникам, академик (с 1907 г.), после смерти А. А. Шахматова был избран председателем Отделения русского языка и словесности и оставался им вплоть до закрытия Отделения в 1930 г.



Сергей Александрович Жебелев. Надпись на фотографии:  
«Дорогой Ольге Михайловне Фрейдэнберг на добрую память  
о наших давнишних дружественных отношениях. 20. V.41»

резко отнесся к «этим господам» и взялся вести меня один, прибавив торжественно, что «мы лучше друг друга пойдем, чем нас — Истрин»<sup>1</sup>.

Занимаюсь я и у И[вана] И[вановича Толстого] в семинарии по Элевсинским таинствам. Он очень хорошо ко мне относится. [Его история отношений ко мне — это желание преодолеть непреодолимое; я, впрочем, верю в такую возможность, т[ак] к[ак] жизнь находит форму для любой противоестественной вещи. Академизм, с его учтивостью и почтительностью, форма удобная.<sup>2</sup>]

<...>

<sup>1</sup> «Чтоб помочь мне, он [Жебелев] устроил мне прием у академика Коковцова, мирового гебраиста, а до того и у крупного исследователя древнерусской литературы, Истрина. <...> По просьбе Жебелева он принял меня на своей квартире в Академии наук. Ко мне вышел, еле передвигая ноги, худой, в потертом платье, рыжий человек. Он любезно разговорился со мной, но мои интересы оказались ему далеки. Все, что касалось содержания апокрифа, а тем более имен, его не интересовало. Он ничего не мог ответить на мои вопросы» (Фрейдэнберг, Пробег жизни, тетр. 5: [4-4 об.]). В. М. Истрин издал в 1898 г. всего через 3 года после первой вообще публикации греческого текста славянскую версию иудео-эллинистического апокрифа «Иосиф и Асенет» и исследование этого памятника: *Истрин*, 1898:146-99. Хотя, к сожалению, и по сей день встречаются специалисты по древнерусским памятникам, не вполне осознающие их переводной характер, работа Истрина была пионерской и осталась бы неизвестной на Западе и поныне, если бы не потомок эмигрантов Филоненко (Philonenko, 1968). Какая жалость, что Истрин не увидел связи поисков Фрейдэнберг и собственного первопроходческого исследования! Ведь «Иосиф и Асенефа» — первый любовный роман, написанный по-гречески и при этом отчетливо сакральный. Фрейдэнберг так и не узнала о его существовании, а ведь он особенно удачно подтверждает многие из ее догадок о происхождении романа (Брагинская, 2010).

<sup>2</sup> Эта часть текста зачеркнута Фрейдэнберг в письме.

Ольга Фрейденберг — Елене Лившиц, Петроград, [1921] г.

Отрывок из св. Феклы<sup>1</sup>:

Юности честное зеркало,  
либо  
Преклонных лет горечь.

Вопрос: Что есть мученик?

Ответ: Лившиц.

Вопрос: Чесо ради?

Ответ: Обречена бо есть.

Вопрос: Почто быша?

Ответ: Поелику подлежит, лиясь потом, ношению книжного писания, алкающе зело и одержима гладом.

Вопрос: Каку имала мзду прияти?

Ответ: Изругану бысть.

Вопрос: Что есть конец сему?

Ответ: Такожды по гроб.

=====

ч. II. Коментарий.

Отчего эта Лившиц всегда носит такие книги?

На тебе Виппер<sup>2</sup>! Мне все кажется, что есть какое-то безнадежное слово «вип»<sup>3</sup>; а это — еще виппер. Только Лапшин<sup>4</sup> умел наглядно обучить, почему не нужно

<sup>1</sup> Этот «Отрывок» переписан в «Пробег жизни»; Фрейденберг имитирует церковно-славянский и частично старую орфографию, которой она довольно долго пользовалась и после реформы, см. фото рукописи. Житейский контекст шутки такой: Елена Лившиц носила для матери Фрейденберг, Анны Осиповны, книги из библиотеки, «и мама переносила на нее их содержанье и ругалась» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 7: [49]). Но возможно, речь идет о самой Фрейденберг, для которой Лившиц во время работы над «Деяниями Павла и Феклы» и греческим романом (см. об этом выше в письмах О.В.Орбели и комментариях к ним) и подготовки к экзаменам приносила тяжелые книги, вместо того чтобы выписать из них нужное: «Mon ange, это не Гельгамиш. Возьми т. II и поищи: она любит его, боги его то ли похищают, то ли умерщвляют, она рвет на себе волосы, долго ищет, выуживает его тело. Посмотри в т. III указатель имен — Аттис, а может и не Аттис, а Ихиль-Шомес. Раскинь мозгами сама. Содержание в двух словах, но в густой содержимости, выпиши мне к завтраму. Вот тебе благодарный урок для подготовки к профессорскому званию. Не улепетьвай и книги, ради Бога, не присылай» (Записка для Е. С. Лившиц [1921], Архив О. М. Фрейденберг, Москва).

<sup>2</sup> Имеется ввиду Роберт Юрьевич Виппер (1859–1954), русский, латвийский и советский историк, автор учебников по различным периодам всемирной истории, а также сторонник мифологической теории происхождения христианства.

<sup>3</sup> Фрейденберг подразумевает под «безнадежным словом» англ. weep — рыдать, плакать, соответственно, Виппер понимается как Плакса или Плакальщик.

<sup>4</sup> Иван Иванович Лапшин (1870–1952) — русский философ-неокантианец, лекции и семинар которого Фрейденберг посещала в начале своего обучения в университете. Впоследствии она напишет: «Историю философии он иногда излагал как историю философской глупости, как цепь недодумок и недоразумений. Философы были для него живыми людьми, которые хватили истину за ноги, но уцепиться не умели. Это был образец личного отношения к истории философии, чего-то в корне неправильного и пристрастного, но яркого и впечатляющего, как всякое узко-личное в науке» (Фрейденберг, 1991: 146).

Отрывок из св. Библии:  
Благоуди сердце твое, сердце,  
либо  
преклонных твоих горесть.

Вопрос: Кто есть мученик?  
Отвѣтъ: Мученик.

Вопрос: Что ради?  
Отвѣтъ: Обречена бо сего.

Вопрос: Почему быша?  
Отвѣтъ: Послужу раба твоему,  
иже позолю, по имени книне  
наго писаниа, якожеже св.  
иже и вверженна мадам.

Вопрос: Какую имала мзду  
прияти?

Фрагмент письма к Е. С. Лившиц. [1921 г.]

заниматься философией; только Лившиц умеет доказать с полной очевидностью, почему не следует читать книг — по возможности, никаких. Боже мой, до сих пор мне было в жизни только вип; но теперь мне стало виппер. И разве я была счастлива? Мне и так приходилось вип; а теперь уж — виппер. Ах, какая тоска! <...> Тоска тоскучая, змея змеючая. Наука — фикция! — знай это, Елена Лившиц. Ты победил, Галилеянин<sup>1</sup>: ты одна права в своей стыдливой скромности незнания. Наука — фикция! «Все крах и пепел, все обманется»<sup>2</sup>. Я в замкнутом кругу, из коего нет мне выхода, кроме фиаско, а это не то же, что Фиэско<sup>3</sup>. Ибо: без экзаменов нет окончания, а экзамены — величайший идиотизм, величайший пережиток, антагонист научного знания, чистейшее фарисейство, под которым — провал в пустоту. Экзамен — конкурсный прыжок лошади, у одного профессора — с препятствиями псевдоученых барьеров, у другого — без. Результат этого лживого и насильственного развлечения — стыд перед собой и бунт против условностей жизни, созданных тлями для тлей. Ты не знаешь, как называется раствор для древесных червей? Я тоже нет; иначе я вспрыснула бы тех, кто подтачивает «древо познания». Оттого учащиеся и упорно живут, что они ничего еще не «познали», хотя летом и не одно яблоко давали им в кооперативе знания. Твое счастье, что ты невежественна: продолжайте в этом же духе. Если б ты знала, сколько противоречий, сколько мертвой лжи в ученом ремесле! Всю жизнь они обходят науку и учат и тебя «искуцтву» танцевать вокруг и около, «отнюдь не опираясь на оное». Но, конечно, «стремиться всем средством вперед»<sup>4</sup>. Да и есть ли «оное»? Конечно, нет. Есть только потуги к нему, зовы, догадки; как истина Божия, наука не постигается учением, а требует тебя прежде всего, твоего опыта жизни, вопросов твоих, ответов твоих — не только учением, но и твоим преодолением, прохождением через строй тебя всего. Экзамен, как процесс начтения, как рупор чужих голосов, хотя бы самых гениальных, не есть наука<sup>5</sup>. Микроскопическая работа в лаборатории есть наука. Но к чему они ведут, эти наши миллионные науки? <...><sup>6</sup>

<sup>1</sup> По преданию, предсмертные слова Юлиана Отступника, обращенные к галилеянину Иисусу; означают моральную капитуляцию.

<sup>2</sup> Еще одна игра слов с переделкой «прах» в «крах». Цитата похожа на строку из жестокого романа.

<sup>3</sup> Джан Луиджи Фиески (Фиеско) (1522–1547) — генуэзский политический деятель, глава влиятельного лигурийского рода, организатор неудачного заговора против власти Андреа Дориа в Генуе, в результате которого Фиески был казнен, а его род пришел в упадок. Этот сюжет часто использовался в литературе, например, известная драма Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Сама Фрейденберг написала шуточную пьесу «Заговор Фиеско в Ленинграде» (март 1931) о попытках реорганизации научных учреждений города.

<sup>4</sup> Положение часового на посту по военному уставу: «подавшись всем средством вперед, но отнюдь не опираясь на оное».

<sup>5</sup> Фрейденберг не любила экзамены и с трудом переживала это событие. «Я испытывала чувство стыда, когда преподаватель искусственно задавал мне вопросы, — словно они в заправду спрашивал меня; ответы представлялись мне валяньем дурака. Ужасная дичь, варварство эти экзамены! Во мне нагнеталось сопротивление, и я молчала» (Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 5: [34]).

<sup>6</sup> Окончание письма отсутствует.



Леонид Осипович Пастернак.  
1927 г., Берлин

**Ольга Фрейденберг — Леониду Пастернаку,  
Петроград-Москва, январь-февраль 1921 г.<sup>1</sup>**

Этот стиль, как и всякий стиль был неприятен тем, что с первого взгляда так исчерпывающе определял себя. — Ужасно деление жизни надвое, внешность и внутренность — наивное деление, не ведающее своей цельности. — Разве не самый трудный момент тот, который стоит у желаемого? — Когда стоишь “у врат царства” — всегда невыносимо тяжело. Это момент баланса, за которым одна из чаш неминуемо опускается. — Мне кажется, мы научились медлить, как научились далеко ходить. — Мне нравится аристократическая узость науки, как может нравиться узкий ботинок, узкая кисть руки. — Три четверти от науки я не принимаю, а четверть восхищает меня, как идеальная область самого чистого и самого отвлеченного творчества, как область, стоящая над наукой, быть может — над всем в мире, и трущаяся о са-

<sup>1</sup> Письмо не сохранилось ни в архиве Пастернаков, ни в архиве Фрейденберг. Печатается по тексту записной книжки Фрейденберг, которая имела обыкновение сохранять отдельные фрагменты своих писем, выходявшие за рамки бытового сообщения, и переписывать их в записные книжки. Впоследствии такие фрагменты были использованы в ее воспоминаниях. Часть фрагментов этого письма также включена в воспоминания: Фрейденберг, Пробег жизни, тетр. 4: [37]. Возможно, тире между предложениями обозначают пропуски текста.

мого господ бога. — Научный метод — личный опыт жизни, вексель лично ко мне, без круговой поруки тяжелых немецких голов. Я, право, нисколько не чувствую себя виноватой в том, что каждый немец пишет диссертацию. Научный метод — это мерка мировой линейкой; обладая им, при рассмотрении клетки, или фразы текста, или пласта глины, неизменно задеваешь господ бога. Научный метод — это Беато Анжелико<sup>1</sup>, захлебывающееся упоение, радость и легкость создаваемого, чувство личной нужности. — Медицина — повивальная в науке бабка, трогательная по назначению и постыдная по положению в обществе. — Искусство творит — наука домогается.

**Ольга Фрейденберг — Ольге Владимировне  
и Рубену Абгаровичу Орбели, [Петроград], 1 ноября 1922 г.**

Дорогая Ольга Владимировна, дорогой Рубен Абгарович!

Я очень соскучилась по вас. О ваших бедах узнала от Лившиц и Анны Борисовны<sup>2</sup> (в Ун[иверсите]те). Античное «единство действия»: когда беда — так уж отовсюду. Вчера мне снилось, что вы уезжаете опять из Петербурга<sup>3</sup>, и я ужасно плакала, чувствуя, что все теряю навеки. Проснулась с блаженным сознанием, что вы только в карантине, но, все же, здесь. Посмотришь под иным углом — и несчастье воспринимается, как счастье.

У меня тоже что-то такое, чего понять еще не могу, но что дает внешнее отражение в виде сплошных неприятностей. Хожу с болячкой в мышцах, принявшей хронический характер; Саша открыл зимний сезон такой дозой неприятностей, какая хватит на двоих до весны; мой бывший патрон<sup>4</sup> устроил занятия по пятницам в той же комнате и в те же часы, что и патрон нынешний [Жебелев], и я перед каждым занятием должна стоять у дверей и ожидать его выхода, правда, не с протянутой рукой, но с чувством насилия над моим достоинством личным; мой нынешний патрон, очутившись под этой же дверью, решил, что почему же в такой удобный момент не поговорить о моей работе<sup>5</sup>, тем более что такая мимолетная беседа под дверью ни к чему не обязывает, кроме повышений и понижений голоса. Без труда поэтому, в течение 2–3 минут, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представле-

<sup>1</sup> Фра Беато Анжелико, в монашестве Джовани да Фьезоле (1400–1455, имя при рождении Гвидо ди Пьетро), букв. «Брат блаженный ангельский», доминиканский монах и художник, писавший только святых.

<sup>2</sup> Лицо ближе не известно.

<sup>3</sup> Фрейденберг никогда не называла Петербург Петроградом, а Ленинградом стала называть только в блокаду.

<sup>4</sup> Имеется в виду В. В. Буш, ненадолго вернувшийся в Петроградский университет из Ташкента.

<sup>5</sup> Речь идет о работе над «Происхождением греческого романа», законченной к 1923 г. и в следующем году представленной на публичный диспут в Институте сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), заменявший в те годы защиты.

ния о ходе моей работы, что все, написанное до сих пор, он считает закуской к обеду, а вот обед-то, обед — это вот его и занимает. До сих пор — жутко сказать! — он не чувствует идеи цельности, которая неизбежно присуща всякой настоящей работе, и звенья им воспринимаются как законченные целые без связи. Целое же, основное, та часть работы, которая ему так понравилась, воспринимается в виде хорошей частности, мало относящейся к делу. Итог: да вы не бойтесь, что вы так пугаетесь, дело в одном часе, уверяю вас — не больше, и мы с вами составим план и хорошенько все это отделаем, а там вы будете писать как по маслу.

Да вот, масла-то и нет. Второй месяц ждет работа, материал, все — а не пишется. Стыдно в этом сознаваться: ведь не претендую я на «вдохновение». Лившиц случайно ответила на мою тревогу: земля этот год рожает, а тот нет, два нет. В этом истинный смысл, я полагаю. Вдохновение — оно для поэтов. Но рабочие силы жизни во власти той тайны, которая управляет «в прозе», землей, научной мыслью, пером, связью событий. Не вдохновение, пахнущее претензией, а благовременье: вот, может быть, имя того хозяина, которого ждешь в бодрствовании и ночью, в деятельном состоянии и в молчании — часы, дни, годы или... вплоть до смерти. Придет или не придет? Наступит или не наступит? — Вот все, что ощущаешь. <...>

*Продолжение следует...*

### Литература

- Белинский В. Г. (1979). Сочинения Зенеиды Р-вой // Собрание сочинений: в 9-ти т. / В. Г. Белинский. М.: Худож. лит. Т. 5. Статьи, рецензии и заметки, апрель 1842 — ноябрь 1843.
- Брагинская Н. В. (2010). Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе // Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши. М.: ГУ ВШЭ. С. 34–62.
- Истрин В. М. (1898) Апокриф об Иосифе и Асенефе // Древности: труды Славянской комиссии Императорского Московского археологического общества. М. Т. 3. С. 146–199.
- Костенко Н. Ю. (2017). Четыре письма О. М. Фрейденберг / публ., вступ. ст. и коммент. Н. Ю. Костенко // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». № 4 (25). С. 142–148.
- Малоземов П. А., Гуляев А. П., Шаскольский И. П. (1993). Время и семья Малоземовых. М.: Металлургия.
- Мельник А. Н. (1991). Предисловие к фрагментам из социально-богословского наследия проф. Р. А. Орбели // Социологические исследования. № 12. С. 92–94.
- Пастернак Б. Л. (1991). Собрание сочинений: в 5-ти т. Т. 4. Повести. Статьи. Очерки. М.: Художественная литература.



- Пастернак Б. Л. (2000). Пожизненная привязанность: переписка с О. М. Фрейденберг / [сост. Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернак]. М.: Арт-Флекс.
- Рогинский И. Н. (1950). Михаил Федорович Фрейденберг — изобретатель АТС // Известия АН СССР. Отделение технических наук. № 8. С. 1243–1253.
- Смирновский П. В. (1899–1904). История русской литературы девятнадцатого века. СПб. 8 вып.
- Соколов И. В. (1952). Вклад русской науки и техники в изобретение кинематографа // Известия АН СССР. Отделение технических наук. № 4. С. 587–602.
- Тюляков С. П. (2009) Фамилия мастеров высокой марки // Военно-промышленный курьер [Электрон. журн.]. 4 нояб. (№ 43). URL: <http://vpk-news.ru/articles/5991> (дата обращения: 18.05.2019)
- Фихман И. Ф. (1995). Г. Ф. Церетели в петербургских архивах: портрет ученого // Архивы русских византистов в Санкт-Петербурге. СПб. С. 226–258).
- Фрейденберг О. М. (1991). Университетские годы / публ. и коммент. Н.В. Брагинской // Человек. № 3. С. 145–156.
- Фрейденберг О. М. Пробег жизни. Тетр. 1-2 // Hoover Institution Archives. Pasternak Family papers. Box 155. Folder 4.
- Фрейденберг О. М. Пробег жизни. Тетр. 3 // Hoover Institution Archives. Pasternak Family papers. Box 155. Folder 5.
- Фрейденберг О. М. Пробег жизни. Тетр. 4 // Hoover Institution Archives. Pasternak Family papers. Box 155. Folder 5.
- Фрейденберг О. М. Пробег жизни. Тетр. 5 // Hoover Institution Archives. Pasternak Family papers. Box 155. Folder 6.
- Фрейденберг О. М. Пробег жизни. Тетр. 7 // Hoover Institution Archives. Pasternak Family papers. Box 155. Folder 8.
- Щурова Т. В. (2012). «И светло, и легко, и отрадно...» // Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах / [ред. Ф. Д. Кохрихт]. Одесса. № 50. С. 314–326.
- Philonenko M. (1968). Joseph et Aséneth: Introduction, Texte critique, Traduction, et Notes. Leiden: E. J. Brill, (Studia Post Biblica).